

**БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ**

*1880, выдержки Дятловых от 17.10.2018*

«Антропофагия» .....	1
Бессмертие .....	2
Великий Инквизитор .....	4
Воспоминания .....	6
«Всё позволено» .....	7
Гордость .....	9
Грушенька .....	11
Детство .....	12
«Жажда жизни» .....	14
Зосима .....	15
Илюша .....	22
Ипполит Кириллович (прокурор) .....	23
Карамазов Алёша .....	25
Карамазов Дмитрий .....	30
Карамазов Иван .....	37
Карамазов Фёдор Павлович .....	47
Карамазовы .....	51
Катерина Ивановна .....	53
Коля Красоткин .....	55
Миусов Пётр Александрович .....	57
Отец Паисий .....	59
Преступление и осуждение .....	59
Ракитин Михаил .....	62
«Реализм» .....	65
Россия .....	67
«Слезинка ребёнка» .....	70
Смердяков .....	71
Фетюкович (адвокат) .....	74
Хохлакова Lise .....	75
Хохлакова .....	76
Чёрт-галлюцинация Ивана .....	78

**«Антропофагия»**

1. — Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.
2. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и

антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех.

3. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жадной жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

### Бессмертие

4. Едва только он [Алеша — Н.Д.], задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю).
5. **МалOVERная дама (Хохлакова?):** — О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю: если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила — умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя.
6. **МалOVERная дама (Хохлакова?):** Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно! **Зосима:** — Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. **МалOVERная дама:** — Как? Чем? **Зосима:** — Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно.
7. — Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет

решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.

8. — Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. **Иван:** — Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. **Зосима:** — Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны! **Иван:** — Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович. **Зосима:** — Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.
9. **Федор Павлович:** — Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? — Нет и бессмертия. — Никакого? — Никакого. — То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто! — Совершенный нуль. — Алешка, есть бессмертие? — Есть. — А Бог и бессмертие? — И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. — Гм. Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз! — И в последний раз нет. — Кто же смеется над людьми, Иван? — Черт, должно быть, — усмехнулся Иван Федорович. — А черт есть? — Нет, и черта нет. — Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине. **Иван:** — Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.
10. **Иван:** — Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?
11. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя

нравственность, и наступит все новое. Люди совоюются, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

### Великий Инквизитор

12. — Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику [Великому Инквизитору — Н.Д.] девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.
13. **Иван:** — Нимало. Он [Великий Инквизитор — Н.Д.] именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они поборолли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он ему, — ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»
14. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. <...> думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным.
15. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» <...> Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою!
16. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь

десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые.

17. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом.
18. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлеба. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! <...> Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому.
19. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты?
20. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и донныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию.
21. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно.
22. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех.

23. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого.
24. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть.
25. **Алеша:** — Но... это нелепость! — вскричал он, краснея. — Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда — это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...
26. — Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша. **Иван:** — Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество?
27. **Иван:** — Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он [Великий Инквизитор — Н.Д.], человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми.
28. Кто знает, может быть, этот проклятый старик [Великий Инквизитор — Н.Д.], столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь... Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

### Воспоминания

29. Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла,

кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним [Алешей — Н.Д.]: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина!

30. **Зосима:** Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное.
31. **Зосима:** Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!
32. **Алеша:** Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. <...> А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

### «Всё позволено»

33. — Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить,

- господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.
34. — Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. **Иван:** — Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. **Зосима:** — Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны! **Иван:** — Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович. **Зосима:** — Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.
35. — Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эк ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекошились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено». (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: «Запомню!») Соблазнительная теория подлецам... Я ругаюсь, это глупо... не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимой глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет... | Ракитин разгорячился, почти не мог сдержаться себя.
36. **Зосима:** Так что неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умиленно плачет. Не то у высших. Те вослед науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему: ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его.
37. **Красоткин:** — Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? («Опять, опять!» — подумал он про себя.) — Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.
38. **Дмитрий:** — Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)... есть такие этакое хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепа, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко! **Алеша:** — Ну и то хорошо, — сказал Алеша. **Дмитрий:** — Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свиныя естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там



три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь. | Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел: — «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет? **Алеша:** — Нет, не понимаю, — сказал Алеша. | Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. — И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда...» Среды бояться. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

39. **Дмитрий:** — <...> А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без Бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

### Гордость

40. Правда, пожалуй, и то, что это [послушание старцу — Н.Д.] испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе.
41. **Зосима:** Паки говорю — не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клеветующих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся... Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно... Не лихоимствуйте... Сребра и золота не любите, не держите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его...
42. **Катерина Ивановна:** Я обращусь лишь в средство для его счастья (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастья, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня. | Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это, и в сердце его шевельнулось сострадание.
43. — Так, так, — перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, — так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута — протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание,

то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным...

44. **Иван:** (Катерине Ивановне) Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать непрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости... Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки... Я не хочу сидеть подле надрыва... Впрочем, я уже не умею говорить, все сказал... Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу, а теперь не надо руки. Den Dank, Dame, begehrt ich nicht, — прибавил он с искривленною улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша.
45. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого.
46. **Зосима:** Говорят о пламени адском материальном: не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. <...> О, есть и во аде пребывавшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже добротные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинаят. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти...
47. **Смердяков:** (Ивану) — Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.
48. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя

нравственность, и наступит все новое. Люди совоюются, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

49. **Иван:** — Нет, он [Чёрт-галлюцинация] знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: «Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

### Грушенька

50. — Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу, — набросился Федор Павлович на отца Иосифа. — Вот ответ на ваше «стыдно»! Что стыдно? Эта «тварь», эта «скверного поведения женщина», может быть, святее вас самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила много», а возлюбившую много и Христос простил... — Христос не за такую любовь простил... — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа. **Фёдор Павлович:** — Нет, за такую, за эту самую, монахи, за эту! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пескариков кушаете, в день по пескарику, и думаете пескариками Бога купить!
51. **Ракитин:** (Алеше) — Грушеньку-то? Нет, брат [Дмитрий], не презирает. Уж когда невесту свою въявь на нее променял, то не презирает. Тут... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может.
52. — А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу? Но он на ней не женится, — нервно рассмеялась она вдруг, — разве Карамазов может гореть такую страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него... — опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна.
53. Ба! — страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только что теперь обратил внимание, хотя Алеша рассказал все давеча зараз, и обиду и крик Катерины Ивановны: «Ваш брат подлец!» — Да, в самом деле, может быть, я и рассказал Грушеньке о том «роковом дне», как говорит Катя. Да, это так, рассказал, припоминаю! Это было тогда еще, в Мокром, я был пьян, цыганки пели... Но ведь я рыдал, рыдал тогда сам, я стоял на коленках, я молился на образ Кати, и Грушенька это понимала. Она тогда все поняла, я припоминаю, она сама плакала... А, черт! Да могло ли иначе быть теперь? Тогда плакала, а теперь... Теперь «кинжал в сердце»! Так у баб.
54. **Катерина Ивановна:** — В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главное — честь и долг, и не знаю, что еще, но нечто высшее, даже, может быть, высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство, и оно непреодолимо влечет меня. Все,

впрочем, в двух словах, я уже решилась: если даже он и женится на той... твари, — начала она торжественно, — которой я никогда, никогда простить не могу, то я все-таки не оставлю его!

55. **Грушенька:** — А ведь, может, еще и не простила, — как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. — Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила... Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе!
56. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити (к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась и начинала разговаривать с «Максимушкой» о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже и необходимым.
57. **Дмитрий:** — <...> Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

### Детство

58. Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним [Алешей — Н.Д.]: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина!
59. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что «Алешка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, не бранясь, молча перенося обиду.
60. Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге; Алеша понимал это инстинктом.

61. — Гнев-с! — подхватил штабс-капитан, — именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдил, а этот один против всех восстал за отца.
62. **Иван:** — Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуют, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей.
63. **Иван:** Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой.
64. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого.
65. **«Великий Инквизитор»:** (Христу) И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть.
66. Что же до самой госпожи Хохлаковой, то она была просто очарована молодым человеком [Петром Ильичом — Н.Д.]. «Столько уменья, столько аккуратности и в таком молодом человеке в наше время, и все это при таких манерах и наружности. Вот говорят про современных молодых людей, что они ничего не умеют, вот вам пример» и т.д., и т.д.
67. **Ипполит Кириллович:** Еще раз повторю — никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка.
68. **Алеша:** Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. <...> А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от

легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

### «Жажда жизни»

69. **Иван:** (Алёше) Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлюю, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая?
70. — Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. **Иван:** — Жизнь полюбить больше, чем смысл ее? **Алеша:** — Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.
71. **Дмитрий:** — Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землю! — начал он опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь, Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван...
72. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу.
73. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь

ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

74. **Ипполит Кириллович:** «В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод“, но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого „отца семейства“, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — *après moi le déluge*. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: «Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо». И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать — тридцать лет.

### Зосима

75. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли.
76. Правда, пожалуй, и то, что это [послушание старцу — Н.Д.] испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе.
77. Не смущало его [Алеша — Н.Д.] нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии и наступит настоящее царство Христово». Вот о чем грезилось сердцу Алеши.
78. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист, он, от скуки, может быть, а может быть, для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на «святого».
79. В этой самой келье, может быть уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из «высших» даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до единого,

глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой — покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца.

80. **Зосима:** — Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от непрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навывдумал и нагнал для красоты, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, — знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной... Да встаньте же, сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты...
81. **Зосима:** — Мне сегодня необыкновенно легче, но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь веселым, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать, как сделав такое замечание. Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.
82. **МалOVERная дама (Хохлакова?):** Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно! **Зосима:** — Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. **МалOVERная дама:** — Как? Чем? **Зосима:** — Опытom деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно.
83. **Зосима:** (МалOVERной даме) — Взаправду вы говорите? Ну теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, — в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробыть не могу с вами долее, ждут меня. До свидания.
84. — Да ведь по-настоящему то же самое и теперь, — заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились, — ведь если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за него потом, то есть кары настоящей, не механической, как они сказали сейчас, и которая лишь раздражает в



большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести. — Как же так, позвольте узнать? — с живейшим любопытством спросил Миусов. — Это вот как, — начал старец. — Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, ибо хоть и отсекается вредный член механически и ссылается далеко, с глаз долой, но на его место тотчас же появляется другой преступник, а может, и два другие. Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется. Не отлучает она его от себя, а лишь не оставляет его отеческим назиданием. Мало того, даже старается сохранить с преступником все христианское церковное общение: допускает его к церковным службам, к святым дарам, дает ему подаяние и обращается с ним более как с пленным, чем как с виновным. И что было бы с преступником, о Господи! если б и христианское общество, то есть церковь, отвергло его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон? Что было бы, если б и церковь карала его своим отлучением тотчас же и каждый раз вслед кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского, ибо русские преступники еще веруют. А впрочем, кто знает: может быть, случилось бы тогда страшное дело — произошла бы, может быть, потеря веры в отчаянном сердце преступника, и тогда что? Но церковь, как мать нежная и любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно наказан виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-нибудь пожалеть. Главное же потому устраняется, что суд церкви есть суд единственно вмещающий в себе истину и ни с каким иным судом вследствие сего существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут нельзя уже в сделки вступать. Иностранный преступник, говорят, редко раскаивается, ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы. Общество отсекает его от себя вполне механически торжествуя над ним силой и сопровождает отлучение это ненавистью (так по крайней мере они сами о себе, в Европе, повествуют), — ненавистью и полнейшим к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением. Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церковью уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церковей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство. А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такою ненавистью, что самое общество как бы уже само отлучает от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того, есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый. Справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все

общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преобразования из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении его и в любви его. И что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди.

85. — Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. **Иван:** — Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. **Зосима:** — Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны! **Иван:** — Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович. **Зосима:** — Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.
86. **Зосима:** Любите друг друга, отцы, — учил старец (сколько запомнил потом Алеша). — Любите народ Божий. Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека.
87. **Зосима:** Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения.
88. **Зосима:** Паки говорю — не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клеветующих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся... Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно... Не лихоимствуйте... Сребра и золота не любите, не держите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его...
89. (Алеша о штабс-капитане) Вот это вдруг его и поразило: зачем, дескать, и я выскочил ему помогать? Знаете, Lise, это ужасно как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями... я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел.
90. **Алеша:** Нет, Lise, нет тут никакого презрения к нему! Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах... **Lise:** — Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!

91. (Зосима о своем брате Маркеле) Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: «Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» — «Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» <...> «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете?» — шутит, бывало, с ним. «Не то что день, и много дней проживете, — ответит, бывало, доктор, — и месяцы, и годы еще проживете». — «Да чего годы, чего месяцы! — воскликнет, бывало, — что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать...»
92. **Зосима:** Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное.
93. **Зосима:** Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!
94. **Зосима:** Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших.
95. **Зосима:** Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмел бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я.
96. **Зосима:** Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело: как же это, все почти знали, а я один ничего не знал? И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую.
97. **Зосима:** И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня любите, да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» — «Да, стою ли», — вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос.
98. **Зосима:** Знайте же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделить на собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга.
99. **Зосима:** Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдалается, прячется и, что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие.

100. **Зосима:** Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться; но в том, что мода действительно в свете царица немалая, в этом все же надо сознаться.
101. **Зосима:** Отцы и учителя, что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. На сие указывают образованные светские люди: «Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие». А между тем сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы.
102. **Зосима:** Так мыслю об иноке, и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире, не исказился ли в нем лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай» — вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. <...> А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навывдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. <...> Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного! Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить — уединенный ли богач или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек?
103. **Зосима:** От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец.
104. **Зосима:** Так что неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умиленно плачет. Не то у высших. Те вослед науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему: ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его.
105. **Зосима:** <...> чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло!
106. **Зосима:** Верьте, что кончится сим: на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделятся. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... Буди, буди!

107. **Зосима:** Сменяются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет невысказаны были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле?
108. **Зосима:** Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: «Взять ли силой али смиренною любовью?» Всегда решай: «Возьму смиренною любовью». Решишься так раз навсегда и весь мир покорить можешь. Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. <...> Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша брат мой у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецело любовию мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным.
109. **Зосима:** И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться, не говорите: «Силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию». Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват.
110. **Зосима:** Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Мыслю так.
111. **Зосима:** Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможен стать и судиею. Как ни безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если можешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти.
112. **Зосима:** Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то пади пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если уже не можешь говорить с озлобленными, то служи им молча и в унижении, никогда не теряя надежды. Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хотя бы и не видал и не слышал тебя никто в уединении твоём. Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали Бога ты, единый оставшийся. А если вас таких

двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви, обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа: ибо хотя и в вас двоих, но восполнилась правда его.

113. **Зосима:** Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил.
114. **Зосима:** А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает.
115. **Зосима:** Отцы и учителя, мысля: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Раз, в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «Я есмь, и я люблю».
116. **Зосима:** Говорят о пламени адском материальном: не исследую тайну сию и страшусь, но мысля, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. <...> О, есть и во аде пребывавшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобшившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти...

### Илюша

117. — Гнев-с! — подхватил штабс-капитан, — именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца.
118. **Штабс-капитан:** Опять ходим, гуляем. «Папа, спрашивает, папа, ведь богатые всех сильнее на свете?» — «Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого». — «Папа, говорит, я разбогатею, я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет...»
119. **Алеша:** Он [Илюша — Н.Д.] был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал.
120. **Алеша:** Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. <...> А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту

теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

### Ипполит Кириллович (прокурор)

121. Прокурор же, то есть товарищ прокурора, но которого у нас все звали прокурором, Ипполит Кириллович, был у нас человек особенный, нестарый, всего лишь лет тридцати пяти, но сильно наклонный к чахотке, присем женатый на весьма толстой и бездетной даме, самолюбивый и раздражительный, при весьма солидном, однако, уме и даже доброй душе. Кажется, вся беда его характера заключалась в том, что думал он о себе несколько выше, чем позволяли его истинные достоинства. И вот почему он постоянно казался беспокойным. Были в нем к тому же некоторые высшие и художественные даже поползновения, например на психологичность, на особенное знание души человеческой, на особенный дар познания преступника и его преступления. В этом смысле он считал себя несколько обиженным и обойденным по службе и всегда уверен был, что там, в высших сферах, его не сумели оценить и что у него есть враги. В мрачные минуты грозился даже перебежать в адвокаты по делам уголовным. Неожиданное дело Карамазовых об отцеубийстве как бы встряхнуло его всего: «Дело такое, что всей России могло стать известно». Но это уж я говорю, забегая вперед.
122. О ревности своей говорил он [Дмитрий — Н.Д.] горячо и обширно и хоть и внутренне стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на «всеобщий позор», но видимо пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных пристально на него, во время рассказа, взглядов следователя и особенно прокурора смутила его наконец довольно сильно...
123. **Прокурор:** — И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его? **Алёша:** — Да, не имею иного доказательства.
124. Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным, болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой *chef d'oeuvre*, за *chef d'oeuvre* всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее.
125. **Ипполит Кириллович:** «Господа присяжные заседатели, — начал обвинитель, — настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам-то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется? Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими.»
126. **Ипполит Кириллович:** Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же, как он, в душе своей бесчестен точно так же, как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть, спрашивает себя: «Да что такое честь, и не предрассудок ли кровь?» Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевету чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и Боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если

только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?», без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана.

127. **Ипполит Кириллович:** Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущей сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы.
128. **Ипполит Кириллович:** Он [Алеша — Н.Д.], видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к «родной почве», так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспять, лишь бы не видеть их пугающих ужасов.
129. **Ипполит Кириллович:** Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же соблазне — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, — он бы расшил свою ладонку...
130. **Ипполит Кириллович:** Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это что-то — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет все помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там — я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, «что будет там», и может ли Карамазов погамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!
131. (Ипполит Кириллович о Дмитрие) Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого.
132. **Ипполит Кириллович:** И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки [России — Н.Д.], то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!...» <...> [«в четвертой группе»] — Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.
133. **Фетюкович:** Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога [Ипполита Кирилловича — Н.Д.], давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво



говорить не мастер. <...> Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывести все что угодно. Все дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею.

### Карамазов Алёша

134. **Глава IV. Третий сын Алеша.** Было ему тогда всего двадцать лет (брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату, Дмитрию, — двадцать восьмой). Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его.
135. Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним [Алешей — Н.Д.]: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина!
136. Но людей он [Алеша — Н.Д.] любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости.
137. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он [Алеша — Н.Д.] заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно.
138. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что «Алешка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, не бранясь, молча перенося обиду.
139. **Федор Павлович:** (Алёше) А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!.. | И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.
140. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе

силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».

141. Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с неперменным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, — такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига.
142. Едва только он [Алеша — Н.Д.], задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю).
143. О, он [Алеша — Н.Д.] отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано».
144. Не смущало его [Алешу — Н.Д.] нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии и наступит настоящее царство Христово». Вот о чем грезилось сердцу Алеши.
145. Но думал Алеша и другое: столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том: не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику, от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист.
146. — Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, — вдруг, вся одушеваясь, вскричала Lise. — А я ведь маме говорю: ни за что он [Алеша — Н.Д.] не пойдет, он

спасается. Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный, вот что мне приятно вам теперь сказать!

147. — Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил [Ракитин — Н.Д.], о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. **Ракитин:** — Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые!
148. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша «пронзил его сердце» тем, что «жил, все видел и ничего не осудил». Мало того, принес с собою небывалую вещь: совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив — всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем для него, любившего доселе одну лишь «скверну», неожиданным. По уходе Алеши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать.
149. Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда, без рассуждений, и он в этом смысле шел вперед, безо всякого колебания.
150. **Федор Павлович:** — Подожди, я еще одну и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы очень, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут?
151. **Федор Павлович:** — Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? — Нет и бессмертия. — Никакого? — Никакого. — То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто! — Совершенный нуль. — Алешка, есть бессмертие? — Есть. — А Бог и бессмертие? — И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. — Гм. Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз! — И в последний раз нет. — Кто же смеется над людьми, Иван? — Черт, должно быть, — усмехнулся Иван Федорович. — А черт есть? — Нет, и черта нет. — Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине. **Иван:** — Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.
152. **Федор Павлович:** — Постой, постой, постой, милый, еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. Ты не сердись, Алексей? Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик! **Алеша:** — Нет, не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы. **Фёдор Павлович:** — У меня-то сердце лучше головы? Господи, да еще кто это говорит?
153. — Помни, юный [Алеша — Н.Д.], неустанно, — так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий, — что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святости решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ

и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо!

154. **Федор Павлович:** <...> С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек. — Не злой вы человек, а исковерканный, — улыбнулся Алеша.
155. **Федор Павлович:** (Алёше) Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь.
156. Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге; Алеша понимал это инстинктом.
157. — Да я и сам не знаю... У меня вдруг как будто озарение... Я знаю, что я нехорошо это говорю, но я все-таки все скажу, — продолжал Алеша тем же дрожащим и пересекающимся голосом. — Озарение мое в том, что вы брата Дмитрия, может быть, совсем не любите... с самого начала... Да и Дмитрий, может быть, не любит вас тоже вовсе... с самого начала... а только чтит... Я, право, не знаю, как я все это теперь смею, но надо же кому-нибудь правду сказать... потому что никто здесь правды не хочет сказать...
158. **Алеша:** — Братья губят себя, — продолжал он, — отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут «земляная карамазовская сила», как отец Паисий наемни выразился, — земляная и неистовая, необделанная... Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы — и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов... Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?
159. **Иван:** (Алёше) Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая?
160. — Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. **Иван:** — Жизнь полюбить больше, чем смысл ее? **Алеша:** — Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.
161. **Иван:** Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «Како веруеши али вовсе не веруеши?» — вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?
162. — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. **Иван:** — Bravo! — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!
163. — Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! — Нет, не согласился бы, — тихо

- проговорил Алеша. — И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? — Нет, не могу допустить.
164. — Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на нем-то и созидается здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои». **Иван:** — А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего.
165. **Алеша:** — Но... это нелепость! — вскричал он, краснея. — Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда — это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...
166. **Красоткин:** — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе. — Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша. **Красоткин:** — Ну там Бог и прочее.
167. — Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, слышавший трубный сигнал.
168. **Прокурор:** — И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его? **Алеша:** — Да, не имею иного доказательства.
169. **Ипполит Кириллович:** Он [Алеша — Н.Д.], видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к «родной почве», так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспять, лишь бы не видеть их пугающих ужасов.
170. «Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и,

главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем.

171. **Алеша:** Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. <...> А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

### Карамазов Дмитрий

172. **Ракитин:** (Алеше) — Грушеньку-то? Нет, брат [Дмитрий — Н.Д.], не презирает. Уж когда невесту свою въявь на нее променял, то не презирает. Тут... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может.
173. **Дмитрий:** Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастье буря, больше бури! Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит...
174. **Дмитрий Карамазов:** — Первую половину ты понимаешь: это драма, и произошла она там. Вторая же половина есть трагедия, и произойдет она здесь.
175. Только что Алеша вступил на перекресток, как фигура сорвалась с места, бросилась на него и неистовым голосом прокричала: — Кошелек или жизнь! — Так это ты, Митя! — удивился сильно вздрогнувший, однако, Алеша.
176. Ба! — страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только что теперь обратил внимание, хотя Алеша рассказал все давеча зараз, и обиду и крик Катерины Ивановны: «Ваш брат подлец!» — Да, в самом деле, может быть, я и рассказал

Грушеньке о том «роковом дне», как говорит Катя. Да, это так, рассказал, припоминаю! Это было тогда еще, в Мокром, я был пьян, цыганки пели... Но ведь я рыдал, рыдал тогда сам, я стоял на коленках, я молился на образ Кати, и Грушенька это понимала. Она тогда все поняла, я припоминаю, она сама плакала... А, черт! Да могло ли иначе быть теперь? Тогда плакала, а теперь... Теперь «кинжал в сердце»! Так у баб.

177. **Федор Павлович:** (Алеше) Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь.
178. **Алеша:** «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть, брат Дмитрий в глазах его гад и, может быть, давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. <...> И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать.
179. **Катерина Ивановна:** Я обращусь лишь в средство для его счастья (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастья, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня. | Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это, и в сердце его шевельнулось сострадание.
180. **Иван:** (Катерине Ивановне) Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости... Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки... Я не хочу сидеть подле надрыва... Впрочем, я уже не умею говорить, все сказал... Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу, а теперь не надо руки. Den Dank, Dame, begehrt ich nicht, — прибавил он с искривленною улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша.
181. **Алеша:** (слушая молитву отца Паисия) «Ах да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю: это Кана Галилейская, первое чудо... Ах, это чудо, ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог... „Кто любит людей, тот и радость их любит...“ Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была... Без радости жить нельзя, говорит Митя... Да, Митя... Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения — это опять-таки он говорил...»
182. (Мысли Дмитрия) Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», — и все кончится: он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О, тотчас же увезет как можно, как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России, женится там на ней и поселится с ней incognito, так чтоб уж никто не знал об них вовсе, ни здесь, ни там и нигде. Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновленной и уже «добродетельной» жизни («непрерывно, непрерывно добродетельной») он мечтал поминутно и испуганно. Он жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства,

только бы улететь из этого проклятого места и — все возродится, пойдет по-новому! Вот во что он верил и по чем томился.

183. — До утра? Помилосердитесь, это невозможно! — И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен. — Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! — проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору, «а у вас дело важное, так уж вернее бы оставить до утра...». Митя развел руками и согласился.
184. Митя мрачно отступил, и вдруг его как бы «что-то ударило по лбу», как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-то озарение в уме его, «загорелся светоч, и я все постиг». В ошеломлении стоял он, недоумевая, как мог он, человек все же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в это такое приключение и продолжать все это почти целые сутки, возиться с этим Лягавым, мочить ему голову... «Ну, пьян человек, пьян до чертиков и будет пить запоем еще неделю — чего же тут ждать? А что, если Самсонов меня нарочно прислал сюда? А что, если она... О Боже, что я наделал!..»
185. (Мысли Дмитрия) Первым делом надо было достать хоть капельку денег на перехватку. Вчерашние девять рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег, известно, никуда шагу ступить нельзя.
186. — Сударыня [Хохлакова — Н.Д.], если вы опытный доктор, то я зато опытный больной, — слюбезничал через силу Митя, — и предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моею, то и поможете ей в ее гибели, но для этого позвольте мне наконец изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться... и то, чего от вас ожидаю... Я пришел, сударыня...
187. — Вас не минуют, Дмитрий Федорович, — тотчас же перерезала госпожа Хохлакова, — эти три тысячи все равно что у вас в кармане, и не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время! Я вам скажу вашу идею: вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же все предоставить жидам? Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович. Вы станете известны и необходимы министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович, с этой стороны меня мало знают...
188. **Хохлакова:** — О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович, я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла пятьсот рублей у Миусова. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать займы значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас, не дала бы, чтобы спасти вас, не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!..
189. — Куда идем? Нет, постойте... Это вы, пожалуй, себе в мозг ее хотите послать, пулю-то... — с беспокойством произнес Петр Ильич. **Дмитрий:** — Пуля вздор! Я жить хочу, я жизнь люблю! Знай ты это. Я златокудрого Феба и свет его горячий люблю... Милый Петр Ильич, умеешь ты устранишься?
190. — Запомнит дольше, — заметил Митя. — Женщину я люблю, женщину! Что есть женщина? Царица земли! Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бедный Иорик!» Это я, может быть, Иорик и есть. Именно теперь я Иорик, а череп потом.
191. **Дмитрий:** — Понимаю, понял и оценил, и еще более ценю настоящую вашу доброту со мной, беспримерную, достойную благороднейших душ. Мы тут трое сошлись люди благородные, и пусть все у нас так и будет на взаимном доверии образованных и светских людей, связанных дворянством и честью. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей, в эту минуту унижения чести моей! Ведь не обидно это вам, господа, не обидно?



192. **Дмитрий:** — Это положительно отказываюсь сказать, господа! Видите, не потому, чтоб не мог сказать, али не смел, али опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки, а потому не скажу, что тут принцип: это моя частная жизнь, и я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь! Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому — не скажу.
193. О ревности своей говорил он [Дмитрий — Н.Д.] горячо и обширно и хоть и внутренне стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на «всеобщий позор», но видимо пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных пристально на него, во время рассказа, взглядов следователя и особенно прокурора смутила его наконец довольно сильно...
194. — Не напрасно, господа, не напрасно! — вскипел опять Митя, хотя и, видимо облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. — Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами, но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывам души (смело это кричу!) — нет! этому вам нельзя не верить... права даже не имеете...
195. — Что ж, если надо... я... — забормотал Митя и, сев на кровать, начал снимать носки. Ему было нестерпимо конфузно: все одеты, а он раздет и, странно это, — раздетый, он как бы и сам почувствовал себя пред ними виноватым, и, главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже и что теперь они уже имеют полное право его презирать. «Коли все раздеты, так не стыдно, а один раздет, а все смотрят — позор! — мелькало опять и опять у него в уме. — Точно во сне, я во сне иногда такие позоры над собою видывал».
196. **Дмитрий:** — Да, вижу такую роковую разницу! Подлецом может быть всякий, да и есть, пожалуй, всякий, но вором может быть не всякий, а только архиподлец. Ну да я там этим тонкостям не умею... А только вор подлее подльца, вот мое убеждение. Слушайте: я ношу деньги целый месяц на себе, завтра же я могу решиться их отдать, и я уже не подлец, но решиться-то я не могу, вот что, хотя и каждый день решаюсь, хотя и каждый день толкаю себя: «Решись, решишь, подлец», и вот весь месяц не могу решиться, вот что! Что, хорошо, по-вашему, хорошо?
197. **Дмитрий:** — Почему? Смешно спрашивать: потому что осудил себя на смерть, в пять часов утра, здесь на рассвете: «Ведь все равно, подумал, умирать, подлецом или благородным!» Так вот нет же, не все равно оказалось! Верите ли, господа, не то, не то меня мучило больше всего в эту ночь, что я старика слугу убил и что грозила Сибирь, и еще когда? — когда увенчалась любовь моя и небо открылось мне снова! О, это мучило, но не так; все же не так, как это проклятое сознание, что я сорвал наконец с груди эти проклятые деньги и их растратил, а стало быть, теперь уже вор окончательный! О господа, повторяю вам с кровью сердца: много я узнал в эту ночь! Узнал я, что не только жить подлецом невозможно, но и умирать подлецом невозможно... Нет, господа, умирать надо честно!..
198. И странное дело: хотя [исправник Михаил Макарович — Н.Д.] был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его все как-то более и более смотрел на него мягче: «С хорошею, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка!»
199. **Дмитрий:** — Нет, не Карл, стой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? **Алеша:** — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. **Дмитрий:** — Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлещи. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось! **Алеша:** — Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. **Дмитрий:** — Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит,

тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.

200. **Дмитрий:** — Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)... есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко! **Алеша:** — Ну и то хорошо, — сказал Алеша. **Дмитрий:** — Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь. | Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел: — «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет? **Алеша:** — Нет, не понимаю, — сказал Алеша. | Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. — И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда...» Среды боятся. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!
201. **Дмитрий:** Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землю, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты!
202. **Дмитрий:** — Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землю! — начал он опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь, Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван...
203. **Дмитрий:** — <...> А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то?

Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без Бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

204. **Дмитрий:** — Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина.
205. **Дмитрий:** — Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина — это, брат, черт знает что такое, уж в них-то я по крайней мере знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться в вине, «виноват, дескать, прости, извини»: тут-то и пойдет ряд попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки, вычитает, чего даже не было, все возьмет, ничего не забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и всё тебе на голову сложит — такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение; не убеждение, а чувство. Мужчине должен быть великодушен, и мужчину это не замарают. Героя даже не замарают, Цезаря не замарают! Ну, а прощения все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой Митя, от женщин погибший.
206. **Дмитрий:** — <...> Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то.
207. **Автор:** Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием.
208. — Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, слышавший трубный сигнал.
209. — Мое, мое [письмо — Н.Д.]! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!

210. «Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем.
211. **Ипполит Кириллович:** Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он [Дмитрий — Н.Д.] был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы [Дмитрий — Н.Д.] натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!
212. **Ипполит Кириллович:** Поколь, дескать, я [Дмитрий — Н.Д.] ношу на себе эти деньги — «я подлец, но не вор», ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив перед нею эту половину всей обманно присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать: «Видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсудимого), но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее, как и первую половину». Удивительное объяснение факта!
213. **Ипполит Кириллович:** Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решил зашить свои деньги в ладонку. При первом же соблазне — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, — он бы расшил свою ладонку...
214. **Ипполит Кириллович:** Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это что-то — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет все помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там — я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, «что будет там», и может ли Карамазов погамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!
215. (Ипполит Кириллович о Дмитрие) Катастрофа может совершиться сейчас, конечно мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к ней-то тянет, ну а деньги? — деньги во всяком положении необходимы! Человек с деньгами — везде человек.
216. (Ипполит Кириллович о Дмитрие) Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли.

Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого.

217. **Фетюкович:** Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона — любовь, именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги, и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною.
218. **Фетюкович:** «<...> Зачем же я [Дмитрий — Н.Д.] должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?» О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: «Гони природу в дверь, она влетит в окно», — а главное, главное, не будем бояться «металла» и «жупела» и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия.
219. **Фетюкович:** Эти люди не накормили и не напоили меня [Дмитрия — Н.Д.], и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток“. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. <...> Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших.
220. — О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. — Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести — не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал, — с сверкающими глазами прибавила Катя, — он давно уже мне сообщил весь этот план побега.
221. **Дмитрий:** — <...> Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

### Карамазов Иван

222. Уже выйдя из университета и приготавливаясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и неспециалистов, и, главное, по предмету, по-видимому, вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка.

223. Но думал Алеша и другое: столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том: не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику, от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист.
224. Иван Федорович, почтительно и внимательно его выслушав, с чрезвычайным спокойствием, но по-прежнему охотно и простодушно продолжал, обращаясь к старцу: — Вся мысль моей статьи в том, что в древние времена, первых трех веков христианства, христианство на земле являлось лишь церковью и было лишь церковь. Когда же римское языческое государство возжелало стать христианским, то непременно случилось так, что, став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим по-прежнему, в чрезвычайно многих своих отправлениях. В сущности так несомненно и должно было произойти. Но в Риме, как в государстве, слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как например самые даже цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в государство, без сомнения не могла уступить ничего из своих основ, от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе как свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между прочим: обратить весь мир, а стало быть, и все древнее языческое государство в церковь. Таким образом (то есть в целях будущего), не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как «всякий общественный союз» или как «союз людей для религиозных целей» (как выражается о церкви автор, которому возражаю), а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели. Все же это ничем не унижит его, не отнимет ни чести, ни славы его как великого государства, ни славы властителей его, а лишь поставит его с ложной, еще языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям. Вот почему автор книги об «Основах церковно-общественного суда» судил бы правильно, если бы, изыскивая и предлагая эти основы, смотрел бы на них как на временный, необходимый еще в наше грешное и незавершившееся время компромисс, но не более. Но чуть лишь сочинитель этих основ осмеливается объявлять, что основы, которые предлагает он теперь и часть которых перечислил сейчас отец Иосиф, суть основы незыблемые, стихийные и вековечные, то уже прямо идет против церкви и святого, вековечного и незыблемого предназначения ее. Вот вся моя статья, полный ее конспект.
225. — Ничего особенного, кроме маленького замечания, — тотчас же ответил Иван Федорович, — о том, что вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод — конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты, а вместе с ними, во многих случаях, и жандармы, то есть заграничные разумеется. Ваш парижский анекдот довольно характерен, Петр Александрович.
226. — Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все

- будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.
227. — Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. **Иван:** — Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. **Зосима:** — Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны! **Иван:** — Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович. **Зосима:** — Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.
228. — Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил [Ракитин — Н.Д.], о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. **Ракитин:** — Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые!
229. **Алёша:** — Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет. **Ракитин:** — Это еще что за сон? Ах вы... дворяне! — Эх, Миша [Ракитин — Н.Д.], душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить.
230. — Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эх ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекошились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено». (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: «Запомню!») Соблазнительная теория подлецам... Я ругаюсь, это глупо... не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимую глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет... | Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя.
231. **Федор Павлович:** — Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет, это ты ему столь любопытен, чем ты его так заласкал? — прибавил он Ивану Федоровичу. — Ровно ничем, — ответил тот, — уважать меня вздумал; это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит.
232. **Федор Павлович:** (Алеше) — <...> Иван высокомерен... А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику [религию — Н.Д.] да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезать. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило! — Да зачем упразднять? — сказал Иван. — А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем.
233. **Федор Павлович:** — Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? — Нет и бессмертия. — Никакого? — Никакого. — То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто! — Совершенный нуль. — Алешка, есть бессмертие? — Есть. — А Бог и бессмертие? — И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. — Гм. Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз! — И в последний раз нет. — Кто же смеется над людьми, Иван? — Черт, должно быть, — усмехнулся Иван Федорович. — А черт есть? — Нет, и черта

- нет. — Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине. **Иван:** — Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.
234. **Алеша:** «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть, брат Дмитрий в глазах его гад и, может быть, давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. <...> И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать.
235. **Иван Федорович:** — Я высказал только мою мысль, — сказал он. — У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымученно, а у вас — нет. Другая была бы неправа, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренни в высшей степени, а потому вы и правы...
236. — Так, так, — перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, — так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута — протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным...
237. **Иван:** (Катерине Ивановне) Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать непрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости... Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки... Я не хочу сидеть подле надрыва... Впрочем, я уже не умею говорить, все сказал... Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу, а теперь не надо руки. Den Dank, Dame, begehrt ich nicht, — прибавил он с искривленною улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша.
238. **Иван:** (Алеше) Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая?
239. — Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. **Иван:** — Жизнь полюбить больше, чем смысл ее? **Алеша:** — Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже



- мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.
240. **Иван:** Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «Како веруеши али вовсе не веруеши?» — вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?
241. **Иван:** — Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?
242. **Иван:** — Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.
243. **Иван:** Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы.
244. **Иван:** Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, то есть что я за человек, во что верую и на что надеюсь, ведь так, так?
245. **Иван:** Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего.
246. **Иван:** Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к Богу» и которое есть само Бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность.
247. — А для чего ты начал так, как «глупее нельзя начать»? — спросил Алеша, задумчиво смотря на него. **Иван:** — Да, во-первых, хоть для русизма: русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее.
248. — Я тебе должен сделать одно признание, — начал Иван: — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним

вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь.

249. **Иван:** — Ну я-то пока еще этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мной тоже. Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж оттого, что такова их натура. По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но мы-то не боги. Положим, я, например, глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и, сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин).
250. **Иван:** — Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей.
251. **Иван:** Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой.
252. **Иван:** В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибавать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать. Эти турки, между прочим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей и составляло главную сладость.
253. **Иван:** У меня есть и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть — это нечто уже наше и не может быть у нас отнято.
254. **Иван:** Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), — за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахию, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахию так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы

их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

255. — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. **Иван:** — Bravo! — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!
256. **Иван:** Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию.
257. **Иван:** Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»!
258. **Иван:** Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.
259. — Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! — Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша. — И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? — Нет, не могу допустить.
260. — Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на нем-то и созиждается здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои». **Иван:** — А, это «единый

- безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего.
261. — Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.
262. **Иван:** — Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он ему, — ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»
263. — Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша. **Иван:** — Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество?
264. **Иван:** — Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он [Великий Инквизитор — Н.Д.], человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». И вот, убедаясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми.
265. Кто знает, может быть, этот проклятый старик [Великий Инквизитор — Н.Д.], столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таких единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь... Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.
266. — Есть такая сила, что все выдержит! — с холодною уже усмешкою проговорил Иван. **Алеша:** — Какая сила? **Иван:** — Карамазовская... сила низости карамазовской. **Алеша:** — Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да? **Иван:** — Пожалуй, и это... только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там.... **Алеша:** — Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями. **Иван:** — Опять-таки по-карамазовски. **Алеша:** — Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?

267. **Иван:** Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор: «Столько лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи». В самом деле, это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его несомненно существовали большие расчеты. Конечно, и это было, то есть эта досада, даже непременно должна была быть, но и это было не то, все не то. «Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве...»
268. **Дмитрий:** — Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли?  
**Алеша:** — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. **Дмитрий:** — Ну и черт его дерь, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось! **Алеша:** — Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. **Дмитрий:** — Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дерь, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалуется. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.
269. **Дмитрий:** — <...> А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без Бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.
270. **Дмитрий:** — <...> Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то.
271. **Автор:** Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всю свою фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием.
272. Сидел он [Смердяков] в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!»
273. **Смердяков:** (Ивану) — Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще

всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

274. — Я тебя [Чёрта-галлюцинацию] поймал! — вскричал Иван с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив, — этот анекдот о квадриллионе лет — это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнился теперь бессознательно — мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон и не существуешь!
275. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!
276. **Иван:** — Нет, он [Чёрт-галлюцинация] знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: «Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.
277. **Ипполит Кириллович:** Но у этого идиота [Смердякова — Н.Д.] промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: «Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!» О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли.
278. «Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россеюшка,

пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем.

279. — О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. — Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести — не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал, — с сверкающими глазами прибавила Катя, — он давно уже мне сообщил весь этот план побега.
280. **Алеша:** — Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша. **Дмитрий:** — Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет. **Алеша:** — Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша.

### Карамазов Фёдор Павлович

281. К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, «со многими жидками, жидками, жидишками и жиденятами», а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но «и у евреев был принят».
282. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие, и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеша, не «кликуши», а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. Вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеше монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей; человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у таких субъектов.
283. **Федор Павлович:** Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то есть.
284. **Федор Павлович:** (Алеше) А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!.. | И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.
285. — Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу, — набросился Федор Павлович на отца Иосифа. — Вот ответ на ваше «стыдно»! Что стыдно? Эта «тварь», эта «скверного поведения женщина», может быть, святее вас самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила много», а возлюбившую много и Христос простил... — Христос не за такую любовь простил... — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа. **Фёдор Павлович:** — Нет, за такую, за эту самую, монахи, за эту! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пескариков кушаете, в день по пескарику, и думаете пескариками Бога купить!
286. Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче [Миусове — Н.Д.], как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про

себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. «По крайней мере монахи-то уж тут не виноваты ни в чем, — решил он вдруг на крыльце игумена, — а если и тут порядочный народ (этот отец Николай игумен тоже, кажется, из дворян), то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым?.. Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и... и... наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому шуту, этому пьеро и попался впросак точно так же, как и они все...»

287. **Федор Павлович:** — Те-те-те! Ханжество и старые фразы! Старые фразы и старые жесты! Старая ложь и казенщина земных поклонов! Знаем мы эти поклоны! «Поцелуй в губы и кинжал в сердце», как в «Разбойниках» Шиллера. Не люблю, отцы, фальши, а хочу истины! Но не в пескариках истина, и я это провозгласил! Отцы монахи, зачем поститесь? Зачем вы ждете за это себе награды на небеси? Так ведь из-за этакой награды и я пойду поститься! Нет, монах святой, ты будь-ка добродетелен в жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там наверху, — так это-то потруднее будет. Я тоже ведь, отец игумен, умею складно сказать. Что у них тут наготовлено? — подошел он к столу. — Портвейн старый Фактори, медок разлива братьев Елисеевых, ай да отцы! Не похоже ведь на пескариков. Ишь бутылочек-то отцы наставили, хе-хе-хе! А кто это все доставлял сюда? Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд государственных! Ведь вы, отцы святые, народ сосете!
288. **Федор Павлович:** — Ну, отцы, и я за Петром Александровичем! Больше я к вам не приду, просить будете на коленях, не приду. Тысячу рубликов я вам прислал, так вы опять глазки наострили, хе-хе-хе! Нет, еще не прибавлю. Мишу за мою прошедшую молодость, за все унижение мое! — застучал он кулаком по столу в припадке выделанного чувства. — Много значил этот монастырек в моей жизни! Много горьких слез я из-за него пролил! Вы жену мою, кликушу, восставляли против меня. Вы меня на семи соборах проклинали, по околотку разнесли! Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог. Ни тысячи, ни ста рублей, ни ста копеек, ничего от меня не получите!
289. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша «пронзил его сердце» тем, что «жил, все видел и ничего не осудил». Мало того, принес с собою небывалую вещь: совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив — всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем для него, любившего доселе одну лишь «скверну», неожиданным. По уходе Алеши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать.
290. У плетня, в крапиве и в лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету [Смердящую — Н.Д.]. Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всею возможною бесцензурностью. Одному барчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему: «Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь, и проч.». Но в этой кучке случился Федор Павлович, и он мигом выскочил и решил, что можно счесть за женщину, даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное, и проч., и проч. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута, любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством конечно, но на деле совершенным пред ними хамом.
291. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: «Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту», — и Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки».



292. — Стой! — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга, — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты [Смердяков — Н.Д.] все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!
293. **Федор Павлович:** — А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошеник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса — пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там... Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Россию, а все эти пороки... а пожалуй что и Россию. *Tout cela c'est de la cochonnerie.* Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие.
294. **Федор Павлович:** — Подожди, я еще одну и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы очень, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут?
295. **Федор Павлович:** — Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? — Нет и бессмертия. — Никакого? — Никакого. — То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто! — Совершенный нуль. — Алешка, есть бессмертие? — Есть. — А Бог и бессмертие? — И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. — Гм. Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз! — И в последний раз нет. — Кто же смеется над людьми, Иван? — Черт, должно быть, — усмехнулся Иван Федорович. — А черт есть? — Нет, и черта нет. — Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине. **Иван:** — Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.
296. **Федор Павлович:** — Постой, постой, постой, милый, еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. Ты не сердись, Алексей? Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик! **Алеша:** — Нет, не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы. **Фёдор Павлович:** — У меня-то сердце лучше головы? Господи, да еще кто это говорит?
297. Старик [Федор Павлович — Н.Д.] не унимался. Он дошел до той черточки пьянства, когда иным пьяным, дотоле смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать.
298. — Для меня, — оживился он [Федор Павлович — Н.Д.] вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему, — для меня... Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего... да где вам это понять! Даже вельфильки, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить — вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до

восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни!

299. **Федор Павлович:** Но вот тебе Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку! Раз только разве один, еще в первый год: молилась уж она тогда очень, особенно богородичные праздники наблюдала и меня тогда от себя в кабинет гнала. Думаю, дай-ка выбью я из нее эту мистику! «Видишь, говорю видишь, вот твой образ, вот он, вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет!..» Как она увидела, Господи, думаю: убьет она меня теперь, а она только вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол... так и опустилась...
300. **Федор Павлович:** — Денег он не просит, правда, а все же от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее, — продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного, из желтой летней коломянки, пальто. — Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь — поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинудились.
301. **Федор Павлович:** <...> С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек. — Не злой вы человек, а исковерканный, — улыбнулся Алеша.
302. **Алеша:** «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть, брат Дмитрий в глазах его гад и, может быть, давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. <...> И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать.
303. **Смердяков:** — Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.
304. **Смердяков:** (Ивану) — Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.
305. **Ипполит Кириллович:** «В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод“, но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого „отца семейства“, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру беднякским приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных

способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — *après moi le déluge*. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: «Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо». И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать — тридцать лет.

306. **Ипполит Кириллович:** Но у этого идиота [Смердякова — Н.Д.] промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: «Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!» О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли.
307. **Фетюкович:** «<...> Зачем же я [Дмитрий — Н.Д.] должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?» О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: «Гони природу в дверь, она влетит в окно», — а главное, главное, не будем бояться «металла» и «жупела» и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия.

### Карамазовы

308. — Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил [Ракитин — Н.Д.], о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. **Ракитин:** — Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые!
309. **Дмитрий:** Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастье буря, больше бури! Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит...
310. **Алеша:** — Братья губят себя, — продолжал он, — отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут «земляная карамазовская сила», как отец Паисий намедни выразился, — земляная и неистовая, необделанная... Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы — и того не знаю.

Знаю только, что и сам я Карамазов... Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?

311. **Иван:** (Алеше) Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая?
312. **Иван:** Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой.
313. — Есть такая сила, что все выдержит! — с холодною уже усмешкою проговорил Иван. **Алеша:** — Какая сила? **Иван:** — Карамазовская... сила низости карамазовской. **Алеша:** — Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да? **Иван:** — Пожалуй, и это... только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там.... **Алеша:** — Как же избежешь? Чем избежешь? Это невозможно с твоими мыслями. **Иван:** — Опять-таки по-карамазовски. **Алеша:** — Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?
314. **Дмитрий:** — Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? **Алеша:** — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. **Дмитрий:** — Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось! **Алеша:** — Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. **Дмитрий:** — Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.
315. **Ипполит Кириллович:** «В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод“, но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого „отца семейства“, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в

жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — *après moi le déluge*. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: «Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо». И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать — тридцать лет.

316. **Ипполит Кириллович:** Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он [Дмитрий — Н.Д.] был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы [Дмитрий — Н.Д.] натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!
317. **Ипполит Кириллович:** Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это что-то — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет все помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там — я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, «что будет там», и может ли Карамазов погамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!

### Катерина Ивановна

318. — А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу? Но он на ней не женится, — нервно рассмеялась она вдруг, — разве Карамазов может гореть такою страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него... — опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна.
319. Ба! — страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только что теперь обратил внимание, хотя Алеша рассказал все давеча зараз, и обиду и крик Катерины Ивановны: «Ваш брат подлец!» — Да, в самом деле, может быть, я и рассказал Грушеньке о том «роковом дне», как говорит Катя. Да, это так, рассказал, припоминаю! Это было тогда еще, в Мокром, я был пьян, цыганки пели... Но ведь я рыдал, рыдал тогда сам, я стоял на коленках, я молился на образ Кати, и Грушенька это понимала. Она тогда все поняла, я припоминаю, она сама плакала... А, черт! Да могло ли иначе быть теперь? Тогда плакала, а теперь... Теперь «кинжал в сердце»! Так у баб.
320. **Алеша:** «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть, брат Дмитрий в глазах его гад и, может быть, давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. <...> И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать.

321. **Катерина Ивановна:** Слушайте, Алексей Федорович, я даже не знаю, люблю ли я его теперь. Он мне стал жалок, это плохое свидетельство любви. Если б я любила его, продолжала любить, то я, может быть, не жалела бы его теперь, а, напротив, ненавидела...
322. **Катерина Ивановна:** — В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главное — честь и долг, и не знаю, что еще, но нечто высшее, даже, может быть, высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство, и оно непреодолимо влечет меня. Все, впрочем, в двух словах, я уже решила: если даже он и женится на той... твари, — начала она торжественно, — которой я никогда, никогда простить не могу, то я все-таки не оставлю его!
323. **Катерина Ивановна:** Я обращусь лишь в средство для его счастья (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастья, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня. | Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это, и в сердце его шевельнулось сострадание.
324. **Иван Федорович:** — Я высказал только мою мысль, — сказал он. — У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымученно, а у вас — нет. Другая была бы неправа, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренни в высшей степени, а потому вы и правы...
325. — Так, так, — перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, — так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута — протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным...
326. — Да я и сам не знаю... У меня вдруг как будто озарение... Я знаю, что я нехорошо это говорю, но я все-таки все скажу, — продолжал Алеша тем же дрожащим и пересекающимся голосом. — Озарение мое в том, что вы брата Дмитрия, может быть, совсем не любите... с самого начала... Да и Дмитрий, может быть, не любит вас тоже вовсе... с самого начала... а только чтит... Я, право, не знаю, как я все это теперь смею, но надо же кому-нибудь правду сказать... потому что никто здесь правды не хочет сказать...
327. **Иван:** (Катерине Ивановне) Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать непрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости... Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки... Я не хочу сидеть подле надрыва... Впрочем, я уже не умею говорить, все сказал... Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу, а теперь не надо руки. Den Dank, Dame, begehrt ich nicht, — прибавил он с искривленною улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша.
328. **Дмитрий:** — Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу.

«Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина.

329. **Автор:** Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием.
330. — Мое, мое [письмо — Н.Д.]! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!
331. — О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. — Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести — не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал, — с сверкающими глазами прибавила Катя, — он давно уже мне сообщил весь этот план побега.
332. Она [Катерина Ивановна — Н.Д.] страдала за свое «предательство» на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. <...> Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. «Что ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой, и ненавидит его минутами», — подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтоб это было только «минутами». В последних словах Кати он слышал вызов, но не поднял его.
333. **Алеша:** — Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша. **Дмитрий:** — Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет. **Алеша:** — Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша.

### Коля Красоткин

334. Но мальчик [Коля Красоткин — Н.Д.] хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдерживать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие.
335. **Красоткин:** — Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.
336. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. — Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы. **Смуров:** — Да, какой-то смешной. **Красоткин:** — То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их

повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров. — А что такое социалист? — спросил Смуров. **Красоткин:** — Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.

337. **Красоткин:** — И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как например теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка — главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик.
338. — Это хороший мужик, — заговорил Коля [Красоткин — Н.Д.] Смурову. — Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.
339. **Красоткин:** — Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.
340. — Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он [Смуров] Колю [Красоткина — Н.Д.], предчувствуя ответ. **Красоткин:** — А почему я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?
341. Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчигов, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее.
342. **Красоткин:** Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике [Илюша — Н.Д.] развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения.
343. И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.
344. (Красоткин рассказывает) Мировой мигмом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет как баба: «Это не я, говорит, это он меня напустил», — да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, — говорит мне, — сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить».
345. **Красоткин:** — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе. — Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша. **Красоткин:** — Ну там Бог и прочее.



346. **Красоткин:** — Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? («Опять, опять!» — подумал он про себя.) — Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.
347. **Красоткин:** — Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатым, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?
348. **Красоткин:** — Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль...
349. — Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. *Les femmes tricotent*, как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.
350. — Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Bravo, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но все-таки немец хорошо сказал! Bravo, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить...
351. — Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! — воскликнул Алеша. — Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение, именно черт, — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.

### Миусов Пётр Александрович

352. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист, он, от скуки, может быть, а может быть, для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на «святого».
353. Миусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти, должно быть, обошлись дороговько хоронившим за право хоронить в таком «святом» месте, но промолчал: простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев.
354. На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчаливая улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из

чувства собственного достоинства. Миусов еще больше наморщился. «О, черт их всех дери, веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» — пронеслось у него в голове.

355. **Миусов:** (отцу Паисию) — Ну-с, признаюсь, вы меня теперь несколько ободрили, — усмехнулся Миусов, переложив опять ногу на ногу. — Сколько я понимаю, это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии. Это как угодно. Прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и проч. Что-то даже похожее на социализм. А то я думал, что все это серьезно и что церковь теперь, например, будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, так и смертную казнь.
356. — Позвольте мне сообщить вам один маленький анекдот, господа, — внушительно и с каким-то особенно осанистым видом проговорил вдруг Миусов. — <...> Был этот индивидуум не то что сыщиком, а вроде управляющего целую командой политических сыщиков, — в своем роде довольно влиятельная должность. <...> Опуская главную суть разговора, приведу лишь одно любопытнейшее замечание, которое у этого господчика вдруг вырвалось: «Мы, — сказал он, — собственно этих всех социалистов — анархистов, безбожников и революционеров — не очень-то и опасаемся; мы за ними следим, и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». Слова эти и тогда меня поразили, но теперь у вас, господа, они мне как-то вдруг припомнились...
357. — Ничего особенного, кроме маленького замечания, — тотчас же ответил Иван Федорович, — о том, что вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод — конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты, а вместе с ними, во многих случаях, и жандармы, то есть заграничные разумеется. Ваш парижский анекдот довольно характерен, Петр Александрович.
358. — Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.
359. Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче [Миусове — Н.Д.], как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как

оно вышло. «По крайней мере монахи-то уж тут не виноваты ни в чем, — решил он вдруг на крыльце игумена, — а если и тут порядочный народ (этот отец Николай игумен тоже, кажется, из дворян), то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым?.. Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и... и... наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому шуту, этому пьеро и попался впросак точно так же, как и они все...»

360. Одно мгновение все смотрели на него в упор и молчали, и вдруг все почувствовали, что выйдет сейчас что-нибудь отвратительное, нелепое, с несомненным скандалом. Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось. — Нет, вынести этого я не могу! — вскричал он, — совсем не могу и... никак не могу! | Кровь бросилась ему в голову. Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу.
361. **Хохлакова:** — О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович, я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла пятьсот рублей у Миусова. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать займы значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас, не дала бы, чтобы спасти вас, не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!..

### Отец Паисий

362. — То есть в двух словах, — упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, — по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации.
363. — Совершенно обратно изволите понимать! — строго проговорил отец Паисий, — не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение! А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет.
364. — Помни, юный [Алеша — Н.Д.], неустанно, — так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий, — что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами неизбежно, как и прежде, и врата адавы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, неизбежно!
365. — Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша. **Иван:** — Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество?

### Преступление и осуждение

366. Но людей он [Алеша — Н.Д.] любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом

смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости.

367. **Федор Павлович:** А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!.. | И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.
368. — Да ведь по-настоящему то же самое и теперь, — заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились, — ведь если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за него потом, то есть кары настоящей, не механической, как они сказали сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной совести. — Как же так, позвольте узнать? — с живейшим любопытством спросил Миусов. — Это вот как, — начал старец. — Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, ибо хоть и отсекается вредный член механически и ссылается далеко, с глаз долой, но на его место тотчас же появляется другой преступник, а может, и два другие. Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется. Не отлучает она его от себя, а лишь не оставляет его отеческим назиданием. Мало того, даже старается сохранить с преступником все христианское церковное общение: допускает его к церковным службам, к святым дарам, дает ему подаяние и обращается с ним более как с пленным, чем как с виновным. И что было бы с преступником, о Господи! если б и христианское общество, то есть церковь, отвергло его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон? Что было бы, если б и церковь карала его своим отлучением тотчас же и каждый раз вослед кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского, ибо русские преступники еще веруют. А впрочем, кто знает: может быть, случилось бы тогда страшное дело — произошла бы, может быть, потеря веры в отчаянном сердце преступника, и тогда что? Но церковь, как мать нежная и любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно наказан виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-нибудь пожалеть. Главное же потому устраняется, что суд церкви есть суд единственно вмещающий в себе истину и ни с каким иным судом вследствие сего существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут нельзя уже в сделки вступать. Иностранный преступник, говорят, редко раскаивается, ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы. Общество отсекает его от себя вполне механически торжествующею над ним силой и сопровождает отлучение это ненавистью (так по крайней мере они сами о себе, в Европе, повествуют), — ненавистью и полнейшим к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением. Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церковью уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церковей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено

государство. А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такою ненавистью, что самое общество как бы уже само отлучает от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того, есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый. Справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преобразования из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении его и в любви его. И что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди.

369. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша «пронзил его сердце» тем, что «жил, все видел и ничего не осудил». Мало того, принес с собою небывалую вещь: совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив — всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем для него, любившего доселе одну лишь «скверну», неожиданным. По уходе Алеши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать.
370. **Зосима:** Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею. Как ни безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно приими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти.
371. **Зосима:** Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил.
372. **Хохлакова:** — Мне сегодня ужасно как нужно поспеть вовремя к брату, — пролепетал было Алеша. — Именно, именно! Вы мне все напомнили! Послушайте, что такое аффект? — Какой аффект? — удивился Алеша. — Судебный аффект. Такой аффект, за который все прощают. Что бы вы ни сделали — вас сейчас простят.
373. **Lise:** — Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно! <...> **Алеша:** — Зачем делать злое? **Lise:** — А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша? **Алеша:** — Так. Потребность

раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает. **Lise:** — Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю. <...> — Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша. **Lise:** — Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят. <...> **Алеша:** — Как вам не совестно разрушать себя? **Lise:** — Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил. **Алеша:** — Любят, что отца убил? **Lise:** — Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю. **Алеша:** — В ваших словах про всех есть несколько правды, — проговорил тихо Алеша.

374. **Дмитрий:** Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землю, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческого сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты!
375. **Фетюкович:** Эти люди не накормили и не напоили меня [Дмитрия — Н.Д.], и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток“. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. <...> Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших.

### Ракитин Михаил

376. **Ракитин:** (Алеше) — Грушеньку-то? Нет, брат [Дмитрий — Н.Д.], не презирает. Уж когда невесту свою въявь на нее променял, то не презирает. Тут... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может.
377. — Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил [Ракитин — Н.Д.], о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. **Ракитин:** — Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые!
378. **Алеша:** — Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет. **Ракитин:** — Это еще что за сон? Ах вы... дворяне! — Эх, Миша [Ракитин — Н.Д.], душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить.
379. — Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эх ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекосилились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «Нет бессмертия души,

так нет и добродетели, значит, все позволено». (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: «Запомню!») Соблазнительная теория подлецам... Я ругаюсь, это глупо... не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимой глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет... | Ракитин разгорячился, почти не мог сдержаться себя.

380. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. — Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы. **Смуров:** — Да, какой-то смешной. **Красоткин:** — То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров. — А что такое социалист? — спросил Смуров. **Красоткин:** — Это коли все равны, у всех одно общее именование, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.
381. — Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. *Les femmes tricotent*, как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.
382. **Дмитрий:** — Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? **Алеша:** — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. **Дмитрий:** — Ну и черт его дерь, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось! **Алеша:** — Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. **Дмитрий:** — Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дерь, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: *de мыслибус non est disputandum*, хороша острова? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.
383. **Дмитрий:** — Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)... есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, —

черт его дери момент, — а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко! **Алеша:** — Ну и то хорошо, — сказал Алеша. **Дмитрий:** — Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь. | Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел: — «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет? **Алеша:** — Нет, не понимаю, — сказал Алеша. | Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его. — И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда...» Среды бояться. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

384. **Дмитрий:** Вот он [Ракитин — Н.Д.] как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. «В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для оболъщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! «А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить». Это что про Пушкина-то — я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гордился-то стишонками как!
385. **Ракитин:** *Уж какая ж эта ножка, Ножка, вспухшая немножко! Доктора к ней ездят, лечат, И бинтуют, и калечат. Не по ножкам я тоскую, — Пусть их Пушкин воспекает: По головке я тоскую, Что идей не понимает. Понимала уж немножко, Да вот ножка помешала! Пусть же вылечится ножка, Чтоб головка понимала.*
386. **Дмитрий:** — Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землю! — начал он опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь, Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван...
387. **Дмитрий:** — <...> А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без Бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под



руку попадет, и наколотись рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

388. **Дмитрий:** — Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина.
389. **Ипполит Кириллович:** Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он [Дмитрий — Н.Д.] был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы [Дмитрий — Н.Д.] натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!

#### «Реализм»

390. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».
391. — Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо

высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

392. — До утра? Помилосердитесь, это невозможно! — И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен. — Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! — проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору, «а у вас дело важное, так уж вернее бы оставить до утра...». Митя развел руками и согласился.
393. **Хохлакова:** — Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса (слышали про старца Зосиму?), тут, тут математика: вы не могли не прийти, после того как произошло все это с Катериной Ивановной, вы не могли, не могли, это математика. **Дмитрий:** — Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое! Но позвольте, однако ж, изложить... **Хохлакова:** — Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм, я слишком проучена насчет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?
394. **Хохлакова:** — А что ж, и по походке. Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер, Дмитрий Федорович? Естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитрий Федорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная реалистка и хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена. Довольно! как сказал Тургенев.
395. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. — Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы. **Смуров:** — Да, какой-то смешной. **Красоткин:** — То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров. — А что такое социалист? — спросил Смуров. **Красоткин:** — Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.
396. **Красоткин:** — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе. — Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша. **Красоткин:** — Ну там Бог и прочее.
397. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»

398. О, он [Алеша — Н.Д.] отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано».
399. — Стой! — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга, — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты [Смердяков — Н.Д.] все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!
400. **Штабс-капитан:** На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с — маменьку-то я очень люблю-с — ну с горя и клюкнул на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные.
401. **Федор Павлович:** — А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса — пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там... Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Россию, а все эти пороки... а пожалуй что и Россию. *Tout cela c'est de la cochonnerie.* Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие.
402. **Смердяков:** — Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.
403. **Иван:** — Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?
404. — Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо, — проговорил Алеша, все с тою же тихою и испытующею улыбкой вглядываясь в брата [Ивана — Н.Д.].
405. **Иван:** — Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.
406. **Иван:** Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы.

407. — А для чего ты начал так, как «глупее нельзя начать»? — спросил Алеша, задумчиво смотря на него. **Иван:** — Да, во-первых, хоть для русизма: русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее.
408. **Иван:** У меня есть и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немислимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть — это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. <...> Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам брат и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья.
409. **Зосима:** От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец.
410. **Зосима:** <...> чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло!
411. — Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. *Les femmes tricotent*, как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.
412. — Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Bravo, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самоуверенность — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но все-таки немец хорошо сказал! Bravo, немец! Хотя все-таки немцев надо душировать. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душировать...
413. **Дмитрий:** — Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли? **Алеша:** — Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю. **Дмитрий:** — Ну и черт его дерь, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось! **Алеша:** — Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша. **Дмитрий:** — Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дерь, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.

414. **Дмитрий:** — <...> Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то.
415. — Ум хорошо, а два — лучше, — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка [Герценштубе — Н.Д.] говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить.
416. **Герценштубе:** — <...> И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, и я сказал: «Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоём детстве». И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он [Дмитрий — Н.Д.] смеялся, но он и плакал... ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..
417. **Ипполит Кириллович:** Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущей сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы.
418. «Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россееюшка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем.
419. **Ипполит Кириллович:** Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он [Дмитрий — Н.Д.] был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы [Дмитрий — Н.Д.] натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!
420. **Ипполит Кириллович:** И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки [России — Н.Д.], то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не

копите их все нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!...» <...> [«в четвертой группе»] — Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.

421. **Фетюкович:** Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога [Ипполита Кирилловича — Н.Д.], давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. <...> Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывести все что угодно. Все дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею.
422. **Фетюкович:** Эти люди не накормили и не напоили меня [Дмитрия — Н.Д.], и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток“. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. <...> Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших.
423. **Дмитрий:** — <...> Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

### «Слезинка ребѣнка»

424. **Иван:** Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), — за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на

земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

425. — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. **Иван:** — Bravo! — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!
426. **Иван:** Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»!
427. — Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! — Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша. — И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? — Нет, не могу допустить.

### Смердяков

428. У плетня, в крапиве и в лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету [Смердящую — Н.Д.]. Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всею возможною бесцензурностью. Одному барчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему: «Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь, и проч.». Но в этой кучке случился Федор Павлович, и он мигом выскочил и решил, что можно счесть за женщину, даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное, и проч., и проч. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута, любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством конечно, но на деле совершенным пред ними хамом.
429. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: «Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту», — и Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки».
430. Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен, и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович, пьяненький, обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил, и хватился их на другой только день: только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердяков поднял и еще вчера принес. «Ну, брат, я таких, как ты, не выдывал», — отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему десять рублей. Надо прибавить, что не только в честности его он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал. Редко, бывало, заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него: чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то, право, невозможно

было бы решить, на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе, или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, взглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель»: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. <...> Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем.

431. — А я насчет того-с, — заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, — что если этого похвального солдата подвиг был и очень велик-с, то никакого опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и испустить малодушие.
432. Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом. — Алешка, Алешка, каково! Ах ты, казуист [Смердяков — Н.Д.]! Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван. Ах ты, иезуит смердящий, да кто же тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь. Не плачь, Григорий, мы его сею же минутой разобьем в дым и прах. Ты мне вот что скажи, ослица: пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей и сам же говоришь, что в тот же час был анафема проклят, а коли раз уж анафема, так тебя за эту анафему по головке в аду не погладят. Об этом ты как полагаешь, иезуит ты мой прекрасный?
433. — Рассудите сами, Григорий Васильевич, — ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, продолжал Смердяков, — рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манером, а лишь других за то всячески ругаете. Опять-таки и то взявши, что никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика-с, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе, — то коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли-с, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет Господь и при милосердии своем, столь известном, никому из них не простит? А потому и я уповаю, что, раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяния слезы пролью.
434. — Стой! — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга, — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты [Смердяков — Н.Д.] все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!
435. **Смердяков:** Составляет-то оно составляет, но рассудите сами, Григорий Васильевич, что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда веровал в самую во истину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел. Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе: двинься и подави мучителя, то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как таракана, и пошел бы я как ни в чем не бывало прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал и нарочно уже кричал сей горе: подави сих мучителей, — а та не давила, то как же, скажите, я



бы в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного великого страха? И без того уж знаю, что царствия небесного в полноте не достигну (ибо не двинулась же по слову моему гора, значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет), для чего же я еще сверх того и безо всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда по слову моему или крику не двинулась бы сия гора. Да в этакую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно, так что и рассуждать-то будет совсем невозможно. А, стало быть, чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то по крайней мере свою сберегу? А потому, на милость Господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен буду-с...

436. **Федор Павлович:** — Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет, это ты ему столь любопытен, чем ты его так заласкал? — прибавил он Ивану Федоровичу. — Ровно ничем, — ответил тот, — уважать меня вздумал; это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит.
437. — Стихи вздор-с, — отрезал Смердяков. **Марья Кондратьевна:** — Ах нет, я очень стишок люблю. — Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы наказали-с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна. **Марья Кондратьевна:** — Как вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли? — ласкался все более и более женский голос.
438. **Смердяков:** — Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с. **Марья Кондратьевна:** — А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет? **Смердяков:** — Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.
439. **Смердяков:** — Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.
440. (изба Смердякова) В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох.
441. Сидел он [Смердяков] в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!»
442. **Смердяков:** — Как же вам на них [Дмитрия — Н.Д.] не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспрерывно тогда рассчитывали!
443. **Прокурор:** — И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его? **Алёша:** — Да, не имею иного доказательства.
444. **Ипполит Кириллович:** Но у этого идиота [Смердякова — Н.Д.] промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: «Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!» О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще

живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли.

445. **Фетюкович:** Но почему, почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? «На одно-де хватило совести, а на другое нет». Но позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные.

#### Фетюкович (адвокат)

446. **Дмитрий:** — Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина.
447. С наслаждением рассказывали, например, потом, как он [Фетюкович — Н.Д.] всех прокурорских свидетелей сумел вовремя «подвести» и, по возможности, сбить, а главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания.
448. **Фетюкович:** Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога [Ипполита Кирилловича — Н.Д.], давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. <...> Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывести все что угодно. Все дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею.
449. **Фетюкович:** Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона — любовь, именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги, и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною.
450. **Фетюкович:** Но почему, почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? «На одно-де хватило совести, а на другое нет». Но позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные.
451. **Фетюкович:** Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего, из ничего только Бог творит.
452. **Фетюкович:** О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова «отец», требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности, — в этой области мы, если хотим быть гуманными,

христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот, вот тогда это и будет настоящим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом...

453. **Фетюкович:** «<...> Зачем же я [Дмитрий — Н.Д.] должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?» О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: «Гони природу в дверь, она влетит в окно», — а главное, главное, не будем бояться «металла» и «жупела» и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия.
454. **Фетюкович:** Эти люди не накормили и не напоили меня [Дмитрия — Н.Д.], и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток“. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. <...> Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших.

### Хохлакова Lise

455. — Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, — вдруг, вся одушеваясь, вскричала Lise. — А я ведь маме говорю: ни за что он [Алеша — Н.Д.] не пойдет, он спасается. Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный, вот что мне приятно вам теперь сказать!
456. — Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! — вскричал Алеша. **Хохлакова:** — Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, — я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин. — Мама, вы его портите и губите, — слышался тоненький голосок Lise из-за двери.
457. **Lise:** Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях и об этом вам поручении... к этому бедному офицеру... и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели, и, знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково... она все перескакивает... но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?..
458. **Алеша:** Нет, Lise, нет тут никакого презрения к нему! Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах... **Lise:** — Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!
459. **Lise:** — Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно! <...> **Алеша:** — Зачем делать злое? **Lise:** — А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша? **Алеша:** — Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает. **Lise:** — Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю. <...> — Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша. **Lise:** — Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят. <...> **Алеша:** — Как вам не совестно разрушать себя? **Lise:** — Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца

убил. **Алеша:** — Любят, что отца убил? **Lise:** — Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю. **Алеша:** — В ваших словах про всех есть несколько правды, — проговорил тихо Алеша.

460. **Lise:** — Я ведь одному вам говорю, — начала опять Лиза. — Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Алеша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут? **Алеша:** — Не знаю. **Lise:** — Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо! **Алеша:** — Хорошо? **Lise:** — Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

### Хохлакова

461. **Малoverная дама (Хохлакова?):** — О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю: если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила — умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя.
462. **Малoverная дама (Хохлакова?):** Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно! **Зосима:** — Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. **Малoverная дама:** — Как? Чем? **Зосима:** — Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно.
463. **Малoverная дама (Хохлакова?):** — Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? — горячо и почти как бы испуганно продолжала дама. — Вот главнейший вопрос! Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя: долго ли бы ты выдержала на этом пути? И если больной, язвы которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же благодарностью, а, напротив, станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству (как и часто случается с очень страдающими) — что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот — представьте, я с содроганием это уже решила: если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятельную» любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!
464. **Малoverная дама (Хохлакова?):** — Вы Зосима меня раздавили! Я теперь только, вот в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности, когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня, вы уловили меня и мне же объяснили меня!
465. **Зосима:** (Малoverной даме) — Взаправду вы говорите? Ну теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страх тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков

ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, — в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробывать не могу с вами долее, ждут меня. До свидания.

466. — Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! — вскричал Алеша. **Хохлакова:** — Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, — я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин. — Мама, вы его портите и губите, — слышался тоненький голосок Lise из-за двери.
467. **Lise:** Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях и об этом вам поручении... к этому бедному офицеру... и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели, и, знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково... она все перескакивает... но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?..
468. **Хохлакова:** — Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса (слышали про старца Зосиму?), тут, тут математика: вы не могли не прийти, после того как произошло все это с Катериной Ивановной, вы не могли, не могли, это математика. **Дмитрий:** — Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое! Но позвольте, однако ж, изложить... **Хохлакова:** — Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм, я слишком проучена насчет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?
469. — Сударыня [Хохлакова — Н.Д.], если вы опытный доктор, то я зато опытный больной, — слюбезничал через силу Митя, — и предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моею, то и поможете ей в ее гибели, но для этого позвольте мне наконец изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться... и то, чего от вас ожидаю... Я пришел, сударыня...
470. **Хохлакова:** — А что ж, и по походке. Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер, Дмитрий Федорович? Естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитрий Федорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная реалистка и хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена. Довольно! как сказал Тургенев.
471. — Вас не минуют, Дмитрий Федорович, — тотчас же перерезала госпожа Хохлакова, — эти три тысячи все равно что у вас в кармане, и не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время! Я вам скажу вашу идею: вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же все предоставить жидам? Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович. Вы станете известны и необходимы министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович, с этой стороны меня мало знают...
472. **Хохлакова:** — О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович, я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла пятьсот рублей у Миусова. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать займы значит поспорить. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас, не дала бы, чтобы спасти вас, не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!..
473. Что же до самой госпожи Хохлаковой, то она была просто очарована молодым человеком [Петром Ильичом — Н.Д.]. «Столько уменья, столько аккуратности и в таком молодом

человеке в наше время, и все это при таких манерах и наружности. Вот говорят про современных молодых людей, что они ничего не умеют, вот вам пример» и т.д., и т.д.

### Чёрт-галлюцинация Ивана

474. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»
475. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — *C'est du nouveau n'est ce pas?* На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.
476. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, — ты сердисься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию, — ведь это такой мороз... то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! <...> — Что станется в пространстве с топором? *Quelle idée!* Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все.
477. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболел у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться.

478. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** «<...> Вы, советуют, напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «Это в Бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». — «Понимаем, говорят, кто же в черта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали.
479. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь.
480. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу.
481. — А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне все больше нравственные пошлы, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграла одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь...
482. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот. **Иван:** — Как дошел! Да где ж он миллиард лет взял? **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то миллиард раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, я же бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...
483. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — <...> Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание.
484. **Чёрт-галлюцинация Ивана:** — Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек

возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой mzды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

*Конец текста*